

## КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

## РЕЦЕНЗИИ

U. Asche. *Roms Weltherrschaftsidee und Aussenpolitik in der Spätantike im Spiegel der Panegyrici Latini*. Bonn: Habelts Dissertationsdrucke. Reihe Alte Geschichte. 1983. Н 16. 212 S.

Опубликованная в виде книги диссертация западногерманской исследовательницы У. Аше представляет интерес не только для специалиста по поздней античности, хотя материал монографии относится в основном к IV в. На последних страницах этой работы специально отмечается, что сложившиеся в рассмотренный период принципы имперской внешнеполитической концепции (и прежде всего — понимание под *imperium* только потенциальной сферы влияния) были «развернуты» в Византии: идентификация *imperium* и императорской власти породила *basileia* и отличие последней от *politeia*, понимаемой в основном как *res publica* (с. 148). Не вдаваясь в критику такого упрощения реальной политической доктрины державы ромеев (Аше в конце концов не византистка), отмечу правильность тезиса о рождении ряда основополагающих компонентов этой доктрины на закате античности (хотя подобную мысль раньше Аше отметила З. В. Удальцова, а специально на материале эпохи Юстиниана I рассмотрела Э. Арвейлер<sup>1</sup>).

С другой стороны, Аше представляет на суд читателя методику анализа данных позднеантичных латинских панегириков, при которой последние рассматриваются как важное средство пропаганды, обрабатываемое не столько к императору, сколько к «общественности» (с. 10). Значит ли это, что Аше учитывает социальную подоплеку создания панегириков? Об этом — ниже. Пока же укажу на исходный вопрос рецензируемой книги — каковы были принципы позднеантичной пропаганды, декларирующей притязания на мировое господство в условиях, менявшихся для Римской империи к худшему (там же; ср.: с. 27—28, 46—47, 73, 95, 112, 120 и след.)?

Хотя латинские панегирики — основной объект исследования, Аше широко сравнивает их данные со сведениями и терминологией памятников наративных (например, с Аммианом), эпистолярных и нумизматических. В отдельных разде-

лах логика исследования потребовала анализа грекоязычных авторов — Евнапия (с. 108—111), Фемистия (с. 124 и след.). Особенно показательны в этом отношении примечания, часто превращающиеся в самостоятельные микроисследования по узким сюжетам темы.

Такой подход к источникам дает плодотворные результаты, когда Аше рассматривает эволюцию понятий, входивших в основной арсенал внешнеполитических доктрин поздней Римской империи. Прежде всего, это касается терминов *orbis Romanus* и *orbis terrarum*, содержание которых ярко представлено Пакатом, Евмением и автором *Paneg. VIII*. Надо отметить, что Аше внешнеполитические идеи каждой речи стремится анализировать в контексте *des traditionellen Weltkreisaspektes*, на фоне которого современники оценивали имперскую внешнюю политику (методика, предложенная В. Хартке и развитая И. Штраубом). В результате видно, что хотя *orbis* и *orbis Romanus* в поздней античности существенно различались и последний стал синонимом понятия *imperium* (если речь шла о констатации замкнутости державы), панегиристы конструировали свои сочинения так, чтобы актуальные факты риторически привести в соответствие с традиционными имперскими притязаниями. Пакат, в частности, широко использовал метод Плиния Старшего и Августа, — краткое паратактическое перечисление внешнеполитических акций, при котором они ясно проявлялись на фиктивной (для конца IV в.) карте *orbis terrarum*. Если Евмений в 298 г. в обстановке диоклетиановой стабилизации говорил об *orbis depictus*, об одном, римском мире, то Пакат в 389 г. уже отходил от этого понятия. *Orbis* стал лишь потенциальной сферой воздействия власти императора и силы римской армии.

Сходные явления наблюдаются и в терминологии, связанной с характеристиками, даваемыми в панегириках границам империи. Если лимесы на Евфрате и Верхнем Рейне были оборонительными

<sup>1</sup> См.: Удальцова З. В. Некоторые нерешенные проблемы истории византийской культуры // ВВ. 1980. 41. С. 62; Ahrweiler H. L'idéologie politique de l'Empire Byzantin. P., 1975. P. 9—24.

рубежами, то пропаганда империи об этом не говорила, а, упоминая ситуацию «по ту сторону границы», отнюдь не имела в виду окончательные границы, установленные в соответствии с правами народов. Аше убедительно раскрывает динамику понятия границы в его многозначности на примерах интерпретации панегириками естественно-географических рубежей (с. 35—36), анализа Paneg. VI. 11—13 (постройка Кельнского моста) и трактовки пропаганды военных действий за пределами лимесов. Понятие границы, как и раньше, оказывалось в IV в. амбивалентным (неуязвимый извне защитный вал, изнутри во всякое время переходимый римской армией). Аше корректно использует изыскания своих предшественников, показывая, как панегиристы пытались решить противоречие между представлением о безграничности влияния империи и наличием действительных границ, определяемых не только природой. Тезисы о безграничности римского влияния (природа как граница orbis terrarum, варвары, обратившиеся в бегство, и ассирийцы — чаще всего персы, — высказывающие reverentia) приводились в соответствии с идеей универсальности образа императора (чья победоносность определяет власть Рима над всеми народами, а способность преодолевать естественные рубежи отрицает для империи всякие границы).

Терминологические возможности изображения панегириками методов внешней политики империи, по Аше, раскрываются прежде всего на определении статуса объектов этой политики. Мало того, что Пакат обозначает оборонительные пограничные битвы словами, которыми когда-то называли широкую экспансию. Потерпевшие поражение народы идентифицируются с покоренными — черта, подмеченная учеными в панегириках уже давно. Но Аше делает важное наблюдение: покорение не означает в поздней античности включение в империю — это подчинение народов римскому распоряжению «сохранять спокойствие». Византисту, однако, интересно и другое замечание: Пакат, создавая иллюзию публично-правовых основ персидской reverentia через констатацию даров Сасанидов императору, сознательно нивелирует категории, относящиеся к внутренней и внешней политике. Шах обозначается Пакатом не только как федерат, но и как tributarius. В целом, полагает Аше, панегиристы дают крайне расплывчатую картину публично-правовых основ внешнеполитических связей, так как целью пропаганды было указать не на партнерство соседей империи, а на их подчиненность (с. 65). Но возникает вопрос, почему, в таком случае, панегирики редко употребляют понятия foederatus, tributarius, clementia, pax и часто — термин amicitia, отражавший безусловную лояльность к Риму и весьма подходящий для мысли о косвенном господстве империи? К тому же достаточно ли такого содержания amicitia для признания ее понятием, равновеликим понятию pax, для реконструирования поздней-

тичной концепции Рима как верховной инстанции и инициатора мировой политики (ср.: с. 71—73)? Тщательный, на мой взгляд, анализ употребления панегиристами термина pax и понятий, связанных с принадлежностью народов к imperium Romanum, дает здесь основание для сомнений.

В книге убедительно показано, что, хотя, pax Romana поздней античности и указывает на мировое господство во всей его многослойности и понимается как связующая сила imperium Romana (порядок ойкумены определяется Римом; см.: Paneg. VIII. 20.2—3), конкретная обстановка IV в. потребовала трансформации этого термина и связанных с ним понятий. Официальный язык империи породил фикцию pax precativa, называющего в качестве одной из самых предпочтительных норм международных отношений «дружеское соседство» (т. е. amicitia выступает вторичным фактором). Аналогичный процесс происходит с взаимностью pax, securitas и libertas. Доминирующую роль в их содержании, по мнению Аше, стал играть внешнеполитический аспект, а сами они приобрели качественно новое воплощение в виде integritas. И хотя pax и imperium в конечном счете идентифицировались панегиристами (вне зависимости от того, что paxio обозначало уже не только потенциальную сферу власти, — с. 90), универсалистские притязания в реальной договорной политике обернулись достижением лишь pacem colere (когда мир имеет место не в силу желаний Рима, а в силу неприменения варварами оружия).

Византистисту, интересующемуся генезисом ойкуменической доктрины, бросается в глаза и наблюдение Аше относительно двух аспектов изображения панегириками принадлежности какого-либо народа к imperium Romanum. Во-первых, это подмеченный у Фемистия (с. 108, ср.: с. 131 и след.) новый аспект понимания экспансии: расширение империи с IV в. достигается снисходительностью и милостью к варварам, а не радикальным их подчинением. В этом Фемистий действительно солидаризировался с Симмахом, для которого экспансия имела целью обязать кого-то к союзу с империей, а не покорить. Во-вторых, Аше подмечает у Евнапия (Fragm. 10) затуманивание парадоксальной ситуации, когда Юлиану в Галлии пришлось объяснять солдатам, что опустошаемая ими страна, хотя здесь и живут франки, — римская собственность. Последнее наблюдение тем более важно, что слова Юлиана основывались, по мысли исследовательницы, на предпосылках, которые при Феодосии I использовались публицистикой для построения уже иного взгляда на принадлежность к империи.

В самом деле, после битвы при Адрианополе политика поселения варваров в империи качественно отличалась от аналогичной политики, проводимой Марком Аврелием или Констансом (ср.: Liban. Or. 59). Аше показывает, что Пакат (Paneg. II.32), умалчивая об Адрианополе и последующей трехлетней смуте,

оставляет в тени и государственно-правовое отношение к империи со стороны федератов, оказавшихся внутри имперских границ и сохранивших права автономных партнеров. Но изображение варваров в качестве слуг империи потребовало от Паката втиснуть новое качество федератов в понятие былой практики варварских поселений на римской территории. Однако если ему удалось это сделать в обстановке определенной стабилизации на Дунае и лояльности готов, воевавших с узурпатором Максимом, то тяжелее пришлось Фемистию — в условиях готских грабежей в Иллирике, санкционированных договором Феодосия I с варварами. В результате если Фемистий ранее говорил о поселениях варваров в империи в духе политики Константина I, то затем он вынужден был констатировать «ранение империи». Правда, у меня нет уверенности в том, что негативная внешнеполитическая ситуация отразилась на мысли Фемистия, так сказать, напрямую. По крайней мере, Аше следовало бы оговорить необходимость учета серьезного рационализма Фемистия, его умеренности и толерантности, сказавшихся и на оценках отношений между империей и варварами. Недаром у того же Фемистия заметно и новое качество *clementiae* — как внешнеполитического принципа. Аше полагает, что у Фемистия интерпретация долга римлян не как истребления варваров, а как их спасения и покровительства (Ог. X, 136d) является переработкой старой концепции романизации как культурной миссии империи в новое «универсальное» понятие. Если же подобные взгляды встречаются и у других авторов, то не потому, что последние заимствовали у Фемистия, а потому что это было общим мышлением того времени (с. 132—134).

Еще один штрих к этой картине: при изображении идеала государя характер политики в отношении варваров получил отражение в новом применении топоса ο φιλόφρωνος βασιλεὺς как основополагающего для притязаний на мировое господство. Правда, вряд ли это наблюдение Аше оригинально, — достаточно указать на ряд работ ее учителя И. Штрауба.

Исследовательница считает, что *foedus* 382 г. являлся легитимацией новой договорной теории, так как в течение IV в. внутримпериетический аспект понятия *paх* распался на «*integritas des paх amplexus*» и их «империалистскую программу» (с. 146, ср.: с. 82—86), последствием чего явились притязания на господство над всеми *nationes*, оказывающимися с империей в отношениях *deditio*. Правда, вряд ли можно согласиться с заключительной трактовкой автором судьбы института *imperiūm*, чьи утраченные в IV в. качества «стали переноситься» на персону императора (с. 148). В этой связи императорская власть стала осмысливаться как носитель универсалистского господства. Скорее *imperiūm* государя влиял на государственный понятийный аппарат.

Здесь хотелось бы кое-что уточнить. Идея универсализма империи и императорской власти являлась составной частью политической доктрины (Аше предпочитает термин «официальная имперская идеология»), но она отнюдь не исчерпывалась идейными направлениями, представленными в книге. Существенный вклад в теорию универсализма IV в. был также сделан направлением, ярче всего воплощенным в трудах Евсевия Кесарийского, и отсутствие в монографии соответствующей оговорки дает основание полагать, что Аше не считает христианские концепции органично вписанными в ткань культуры поздней античности.

Конечно, можно упрекать А. Липпольда, не связавшего позиции панегиристов с конкретными фактами политики IV в. (с. 12). Но тогда Аше следовало бы соблюдать последовательность: похвалить за успешность применения подобного метода на материале панегириков Клавдиана своего западногерманского коллегу Зигмара Дэппа<sup>2</sup> и, что, видимо, еще важнее, не ограничиваться попытками установления связи между терминологической мимикрией великодержавной пропаганды и общими направлениями внешнеполитической ситуации, а попытаться определить (пусть даже в общем виде) общественный облик тех, к кому панегиристы апеллировали. Без этого принципиальный тезис об имевшем место при Диоклетиане и Константине I «генеральном повороте» в идеологии от внутриполитической к внешнеполитической проблематике, — повороте, который стал интегральной составной частью «официального языка» (с. 82), — приходит в противоречие с тезисом о сознательном применении пропаганды IV в. (например, при интерпретации побед Константина I) оборотов речей Августа (с. 68—73).

Таким образом, если в начале книги (с. 10) и указывается, что одной из задач панегиристов была необходимость оправдывать перед общественностью имперский курс и «через позитивную интерпретацию добиваться согласия на новые политические пути руководства», то в ходе исследования этот тезис не имеет выхода на социальный аспект проблемы.

Что касается значения книги Аше, то — помимо множества частных наблюдений над реалиями содержания великодержавной пропаганды IV в. — его можно видеть в корректировке часто гипертрофированного внимания исследователей к жанровым особенностям античного или средневекового произведения при выявлении исторического факта. Труд Аше, возможно помимо желания автора, показывает, что подмена современных условий давно минувшими (пусть даже на терминологическом уровне), характерная для известных периодов и жанров античной и уж тем более византийской литературы, все же имела жесткие пределы. Пределы эти ставила сама действительность, в том числе и внешнеполитическая.

Козлов А. С.

<sup>2</sup> Формулирование З. Дэппом своего метода см.: *Döpp S. Zeitgeschichte in Dichtungen Claudians. Wiesbaden, 1980. S. 11 und folg.*